

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Круглый стол по проблеме “Язык и синергетика”

В работе круглого стола, которая проходила в серии заседаний в лаборатории “Философия самоорганизации и проблемы постнеклассической науки” в январе-феврале 1997 года, принимали участие исполнители проекта “Язык и синергетика”: В.И.Аршинов, Ю.А.Данилов, Л.П.Киященко (рук. проекта), А.А.Парамонов, А.Б.Толстов, Я.И.Свирский, П.Д.Тищенко. Материалы выступлений и дискуссия, развернувшаяся вокруг обсуждаемой проблемы, были обобщены в виде самостоятельных авторских эссе. Работа проводилась при финансовом содействии РГНФ (грант 96–03–04559).

Вместо введения

Как возникла эта тема: язык и синергетика? Побудительным мотивом послужило стремление разобраться в тех изменениях, которые происходят перед нашими глазами в современном естествознании, в том, что сейчас приблизительно фиксируется философией науки, как постнеклассическая наука. Мы наблюдаем, что при употреблении привычных и необходимых научных понятий и представлений таких, например, как основания теории, экспериментальные условия, соотношение наблюдателя и наблюдаемого, предмет исследования, объяснение и понимание и тому подобное, вкладываются иные, непривычные смыслы. Непривычность становится тем более ощутимой, чем более настойчиво мы пытаемся эти смыслы прояснить. Проясне-

ние как конечный результат, как правило, не достигается. Договаривающиеся стороны вынуждены остановиться на промежуточной, конвенционально принятой степени приближения в понимании научного инструментария. Изменение смысла, значения традиционных понятий ведет неизбежно к тому, что мы как бы заново начинаем подбирать слова для более адекватного, как нам представляется, отражения происходящего. Словарь научного обихода, образно говоря, начинает нас гонять по кругу значений уже закрепленных традицией за этим словом. Выход за рамки этого круга неизбежен, если только в тех же словах этимологический анализ не обнаружит более подходящие смыслы, не востребованные до сих пор и существующие как бы в свернутом виде.

Использование чужеродных в научном дискурсе, скажем, поэтических образов, привлечение рисунков, графических картинок, отсылка к музыкальным ассоциациям и тому подобному довольно часто встречается в специальной научной литературе. Это происходило и происходит, когда исследователь испытывает недостаточность тех смыслов, которые закреплены в том научном словарном запасе, которым он владеет, когда не всегда помогает заимствование недостающего из соседней родственной научной отрасли.

Это одна из тех ситуаций, когда использование метафоры в научном тексте может быть рассмотрено в качестве механизма порождения недостающего смысла. И, что любопытно, когда в научном тексте возникает такого рода отсылка, как правило, прекращаются дальнейшие разъяснения и вопросы. Возникает как бы пауза, тишина осмысления предложенного метафорой дальнейшего хода мысли, рождения нового смысла. “Язык основывается в молчании” (Хайдеггер).

История методологии науки может быть рассмотрена с точки зрения особенностей возникновения, выражения и закрепления смысла в слове, в предложении, в тексте. Это подстегнуло наш интерес к поиску механизмов смыслопорождения и смысловыражения в языке, который понимается не только и не столько с позиции лингвистики (семантики), а как самостоятельно бытийствующая реальность. Эту языковую реальность мы застаем с появлением на свет, с нею имеем дело в течении жизни, и только с ее помощью попадаем в науку, освоив ее первосмыслы.

Обращение к синергетике в этой связи может быть мотивировано следующими обстоятельствами. Во-первых, синергетика все устойчивее рассматривается как “интернациональный” язык, способный к междисциплинарному охвату. Во-вторых как новое научное направление, на себе испытывающее взрывную силу возникновения новых смыслов в известных словах: “хаос”, “инерция”, “аттрактор”, “бифур-

кация” и так далее. Да и само слово синергетика претерпело бурные “разборки” со своими якобы “однофамильцами” и со своими предшественниками, например, с кибернетикой. Наконец, в-третьих, она обладает уникальными научными средствами отслеживания нештатных, неклассических ситуаций, связанных с неоднозначностью, нелинейностью, переходом к дробной размерности, неустранимости наблюдателя и тому подобное. Подобные ситуации просматривается и в языке.

Возвращаясь к нашей теме: язык и синергетика, можно предположить, что их параллельное сопоставление будет продуктивным как для языка, так и для синергетики. При этом их область пересечения — и это можно смело предположить — будет иметь и самостоятельный интерес, несмотря на следующие различия.

Язык и синергетика имеют свои и как бы не пересекающиеся с друг другом истории. История языка более древняя. А история синергетики можно сказать только начинается. Другое дело, этимологически она, по-видимому, связана с однокоренным греческим словом синергея, которое имело почтенную историю, в первую очередь, употребляясь в богословских текстах. Богословское понятие синергеи фиксирует объединительное движение различного в единое.

Что же касается истории языка, то нам важно подчеркнуть, что на своем протяжении рассмотрение языка меняло свои акценты. Проблематика языка ставилась и решалась то предпочтительно в рамках философских подходов, то как сугубо лингвистическое явление со строгим структурным подразделением на: фонетику, морфологию, синтаксис, семантику, прагматику. Правда, даже в этих случаях, когда язык, его подразделы рассматривались достаточно классично, как состоявшийся результат исследования, со строго ограниченной предметной областью, редко удавалось полностью избежать философской рефлексии, отсылки к природе языка в целом. И в этом смысле языкознание, его история имеет серьезный философский багаж.

Бум, который переживает сегодня синергетика, пока в малой степени коснулся ее философской экспликации. Очевидно, целесообразно рассмотреть в какой степени применимо к синергетике то, что накоплено в философии языка.

Так или иначе, но связка язык и синергетика нам кажется далеко не случайной. Пока она покоится скорее на интуитивном предощущении, чем на четко отрефлексированных основаниях и строгих определениях. Но такая задача вряд ли осуществима на данном, первоначальном этапе ее рассмотрения. А кроме того, возможно, прокрустово ложе строгих определений по существу не проходит там, где идет

речь о смысле и о механизмах его порождения. Это, очевидно, также стоит обговорить.

И так поставлена проблема о соотношении двух, как может показаться на первый взгляд, относительно независимых явлениях. Говорят поставить проблему — это почти ее решить. Что в данном случае может быть решением проблемы? Скорее всего это будет первоначальный абрис того проблемного поля, который возникает из пересечения рассматриваемых феноменов — языка и синергетики.

Ю.А.Данилов

Синергетический подход к изучению языка: возможности, ограничения и опасности

Что такое синергетика? В последние годы наблюдается бурный и стремительный рост интереса к междисциплинарному направлению, по лучившему название “синергетика”. Издаются солидные монографии, учебники, выходят тысячи статей, проводятся конференции. Растет число словосочетаний, использующих ставший модным термин в самых неожиданных контекстах: поговаривают о возникновении синергетической парадигмы, синергетическом подходе к проблемам государственной безопасности, о синергетических принципах обучения и тому подобное.

Столь широкая популярность одного из направлений современно-го точного естествознания не только радует, но и не может не настораживать, в особенности, когда термин “синергетика” употребляется без должного понимания, подчас в полном отрыве от его первоначального значения, а то и просто как дань моде. Чрезмерно “экстенсивный” рост синергетического направления сулит новому и безусловно полезному направлению скорой дискредитацией и забвением. Поэтому представляется важным вернуться к истокам синергетики и выяснить, какой смысл вкладывал в этот термин создатель направления — профессор Штуттгартского университета Герман Хакен.

По Хакену, синергетика занимается изучением систем, состоящих из большого (очень большого, “огромного”) числа частей или подсистем, взаимодействующих между собой. Системы, о которых идет речь, могут быть самой различной природы (отсюда — междисциплинарный характер синергетики) и содержательно изучаться раз-

личными науками, например, физикой, химией, биологией, экономикой, социологией, лингвистикой и так далее. Синергетику интересуют общие закономерности эволюций таких систем. Тем самым по замыслу своего создателя синергетика призвана играть своего рода роль метанауки, подмечающей и изучающей общий характер тех зависимостей, которые частные науки считали “своими”.

Возникновение нового междисциплинарного направления, как принято теперь говорить, встретило “неоднозначный прием” со стороны научного сообщества. Дебаты между приверженцами синергетики и ее противниками по накалу страстей напоминали печально знаменитую сессию ВАСХНИЛ или собрания, разоблачавшие и осуждавшие буржуазную лженауку кибернетику. Хакена обвиняли в честолюбии, в умышленном введении легковверных в заблуждение, синергетике отказывали в предмете, методе и, разумеется, результативности. Со временем, однако, выяснилось, что многие обвинения оказались несостоятельными.

Название нового направления оказалось весьма удачным: лапидарным и выразительным. Для гуманитария освоить азы синергетики несравненно легче, чем надеяться разобраться во введении в теорию нелинейных динамических систем, с которой синергетика имеет массивное пересечение. Нельзя не вспомнить в этой связи судьбу еще одной теории, также внесшей свою лепту в синергетическое направление, — теории катастроф французского математика Рене Тома. Предложенное им название оказалось гораздо более привлекательным, чем другой его вариант — теория особенностей дифференцируемых отображении. Появились и обвинения в адрес Хакена, что кроме названия синергетика не несет в себе ничего нового.

Действительно, синергетика, как и любая новая наука в конце 20-го века, не могла появиться на пустом месте: у нее были достойные предшественники, которые существуют и развиваются. Особенно близко подошел к идеям общности изучаемых явлений известный специалист по теории колебаний академик Леонид Исаакович Мандельштам. Именно он первым осознал общность закономерностей, изучаемых теорией колебаний. По Мандельштаму, теория колебаний отличается от других разделов физики прежде всего тем, что “говорит на интернациональном языке”, т.е. на языке, одинаково понятном для различных разделов физики, ему же принадлежит идея необходимости выработки “нелинейного мышления”.

Защищаясь от нападок, Хакен первое время указывал на отличия синергетики от ее предшественниц в предмете изучения, в характере (например, открытости) систем, их неравновесности, нелиней

ности и так далее. Упомянул он и о таких нововведениях, как параметры порядка и принцип подчинения.

Небезынтересно отметить, что единственной областью, где, если не считать книги Янча, не предпринималось серьезных попыток осмыслить привнесенное синергетикой оставалась и продолжает оставаться философия.

Нет необходимости доказывать полезность синергетического подхода или настаивать на неприменном использовании термина “синергетика” всеми, чьи достижения и текущие результаты сторонники синергетики склонны считать синергетическими. Явления самоорганизации, изучение сложности, богатство режимов сложных (и простых) нелинейных систем оставляют простор для всех желающих найти свою рабочую площадку и трудиться в меру сил и способностей. Однако нельзя не отметить, что перенос синергетических методов из области точного естествознания в области, традиционно считавшиеся владениями далеких от математики гуманитариев, вскрыли, возможно, наиболее плодотворный аспект синергетики и существенно углубили наше понимание ее.

Что же такое синергетика? Синергетика — далеко не первое научное направление, возникшее на стыке нескольких наук, но ее отличие от других наук такого рода заключается в том, что она возникла не только и не столько на стыке, сколько над науками более частного характера и поэтому изначально была призвана играть роль коммуникатора, позволяющего оценить степень общности результатов отдельной науки, их полезность для других наук и перевести диалект конкретной науки на высокую латынь междисциплинарного общения. Положение метанаучного направления обусловило еще одну важную особенность синергетики — ее открытость, готовность к диалогу на правах непосредственного участника или непритязательного посредника, видящего свою задачу во всемерном обеспечении взаимопонимания между участниками диалога. Диалогичность синергетики находит свое отражение и в характере вопрошания природы: процесс исследования закономерностей окружающего мира из добывания безликой объективной информации превратился или превращается в синергетике в живой диалог исследователя с природой, роль наблюдателя становится осязаемой и зримой.

Язык и синергетика. Волна всеобщего внимания и интереса к синергетике не обошла и науки о языке. Появилось довольно много работ, в которых авторы открывали глаза ничего до сих не подозревавшему человечеству на то, что “обработка лингвистической информации на синтаксическом и семантическом уровнях определяют фазовые

переходы на мультифрактальных множествах”, что “число возможных паттернов в словообразовании резко ограничено неоднородными диссипативными хаотическими потоками, обусловленными мультифрактальностью как на одном аттракторе, так и в перемежающихся перескоках с одного из сосуществующих аттракторов на другой” и тому подобное.

Между тем синергетический подход к философскому осмыслению языка возможен и плодотворен.

Общие закономерности поведения систем, порождающих сложные режимы позволяют рассматривать на содержательном, а иногда и количественном уровне такие вопросы, как уровень сложности восприятия окружающего мира и богатство словарного запаса воспринимающего субъекта, роль хаотических режимов, их иерархия и особенности в формировании смысла, грамматические категории как носители семантического содержания, проблемы ностратического языкознания как восстановление “фазового портрета” семейства языков и многое.

Синергетический подход позволяет переносить на языковую область то, что уже стало достоянием далеких от нее разделов науки¹.

В.И. Аршинов

Синергетика текста

В рамках общей темы — “Синергетика и язык” — возможно довольно большое разнообразие подходов и дискурсов. Плюрализм здесь внутренне присущ практически всем в принципе возможным контекстам рассмотрения “кругов” вопросов, касающихся как синергетики, так и языка. Чтобы сказанное не оказалось чисто декларативным утверждением, я более подробно остановлюсь на своем понимании синергетики. Затем, по необходимости кратко и схематично остановлюсь на вопросе о том, что такое язык с точки зрения синергетики. И, наконец, если удастся, то подробнее остановлюсь на возможностях синергетического подхода к тексту как особого рода открытой нелинейной динамической структуре. Забегая вперед, отмечу сразу, что такой подход оказывается эвристически чрезвычайно плодотворным, поскольку позволяет перекинуть мост от методологии синергетики к идеям и представлениям современного постструктурализма (Деррида, Делез) и, параллельно с этим естественно включить в рассмотрение идею *гипертекста* как современ

ной постнеклассической формы существования и становления нелинейной информационной среды, в которой сегодня реализуется языковая (письменная) коммуникация.

Итак, о синергетике. Говоря о синергетике как о новом направлении научного поиска, хотелось бы в первую очередь обратить внимание на ее существенно междисциплинарный, нередукционистский аспект. Соответственно важно так же обратить внимание на внутренне присущий синергетике плюрализм, многообразие формулировок, обусловленное во многом ее генезисом. Как отмечает Ю.А.Данилов, синергетика в отличие от других междисциплинарных направлений исследований, возникших на стыке двух ранее существовавших наук, возникает, “опираясь на внутренние точки различных наук, с которыми она имеет ненулевые пересечения”. Из этого между прочим следует, что синергетика не имеет своих традиционно истолковываемых предметных оснований, корнящихся в какой-то одной привилегированной дисциплине, а потому в методологическом плане она если угодно, обречена быть диалогичной, коммуникативной, саморефлексивной концептуальной системой. И в этом качестве синергетика (или X-наука по Данилову) выходит за границы классической и даже неклассической естественнонаучной парадигмы познания, если согласиться с М.М.Бахтиным и признать, что основное отличие естествознания от гуманитарного знания состоит в том, что первое монологично, а второе — диалогично.

Конечно, диалогический характер синергетики трудно усмотреть, если ограничиваться констатациями того, что синергетика имеет дело с открытыми, нелинейными, далекими от равновесия системами, системами, внутренним образом сочетающими в своем поведении черту упорядоченности и хаотичности. Да, синергетика это наука о нестабильности, о неустойчивости, о переходах от хаоса к порядку и обратно. Но причем тут диалогичность? Что же все-таки имеет ввиду Пригожин, когда говорит о новом диалоге человека с природой, о переоткрытии времени и так далее.

Здесь, разумеется можно было бы сделать соответствующие ссылки на работы Пригожина, в особенности на его книгу (совместно со Стенгерс) “Порядок из Хаоса”². Я однако, полагая этот вопрос центральным для всей темы синергетика и язык, попытаюсь прояснить его несколько иначе, чем это делает Пригожин. Я обращаю внимание на методологический уровень синергетики. Ясно, что будучи междисциплинарной, синергетика предполагает методологию, которая в чем-то должна отличаться от методологии дисциплинарно организованного знания и познания.

Методология синергетики не может быть так же некоей суммой методологий отдельных дисциплин, пусть даже таких развитых как физика.

С другой стороны, синергетика находится в преемственном отношении ко всему предшествующему развитию научного познания, физики, в особенности, а так же к системному подходу, кибернетике, теории информации и так далее.

Поэтому она не может не заимствовать методологию из наиболее развитых разделов науки и прежде всего – физики. Однако, и в этом состоит мое основное принципиальное предположение, синергетика заимствуя методологический аппарат научного познания с необходимостью должна переосмыслить, реконструировать (возможно даже деконструировать) его. Поясню, что я имею ввиду. Развитие физического познания в XX веке привело к формулировке целой системы методологических принципов таких как принцип соответствия, дополнительности, относительности и так далее. Эти принципы в рамках монодисциплинарной парадигмы классической и неклассической науки были выражены в соответствующем *объектном* языке. Даже принцип наблюдаемости – бесспорно один из ключевых методологических принципов неклассической науки – и тот долгое время пытались сформулировать как бы отдельно и независимо от наблюдателя-субъекта.

Для синергетики, в ее диалоговом методологическом измерении названные естественнонаучные принципы могут быть осмыслены как принципы коммуникации между субъектами научного познания, коммуникации, как правило, не непосредственной, а опосредованной приборами, системами знаков, теориями, разными языками. Вспомним знаменитую фразу Бора: “мы все подвешены в языке”.

Причем продуктами такой коммуникации выступает конвенция, интерсубъективное согласие. Поэтому конвенционализм Пуанкаре для синергетики наиболее когерентная методологическая система отчета.

Итак, мы видим по крайней мере две области пересечения синергетики и лингвистики. Первая, условно говоря предметная. Язык с точки зрения системно-динамического его рассмотрения может рассматриваться как прообраз, парадигму открытой, нелинейной, иерархически организованной эволюционирующей системы. А именно с такими системами и имеет дело синергетика в ее иерархической (Хакен) формулировке. При этом мы можем рассматривать язык на уровне его синтаксиса и семантики, слов, имен и предложений, на уровне текста и далее, что особенно интересно, на уровне гипертекста, как

нелинейно организованного текста, текста с нелинейной структурой (Субботин).

Вторая область пересечения — это область диалогово интерпретированной синергетической методологии. Область синергетики *два*, как я ее называю. В этой области синергетический подход к языку означает его как бы деконструирование, деиерархизирование, язык превращается в процесс, нелинейное письмо, которое “размыкая одномерность текста дает простор движению мысли, возможность двигаться по разным направлениям, совершать переход в другие измерения” (Субботин). Гипертекст — новая форма письменной коммуникации. И есть все основания предполагать, что оба названных пересечения синергетики и лингвистики находятся в рамках метаконтекста синергетики в отношении циклической дополнительности между собой.

Л. П. Киященко

Онтология языка — становление смысла

Феномен языка может быть рассмотрен и рассматривался с различных сторон: как предмет прикладного исследования (например в психологии) или как самостоятельный предмет анализа (лингвистика). Но в обоих случаях язык рассмотрен со стороны, внешней стороны — исследователь дистанцирован в той или иной степени от предмета исследования. Это ключевой момент парадигмы классического рационализма. Он основывается на сильном допущении, действующем по принципу умолчания — он заложен в саму программу и уже не обговаривается. Допущение состоит в том, что прежде чем увидеть частности, т.е. посмотреть на предмет исследования со стороны, надо его представить и осмыслить в целом.

Целостное представление и осмысление любого явления возможно при условии особого отношения исследователя, способного к творческому домысливанию, достраивающего это явление до удовлетворяющего его образа(ования). Учитывая это обстоятельство, расстояние между языком (предметом исследования) и исследователем неумолимо сжимается. А если мы вспомним, что исследование ведется вербальными средствами, то приходится признать, что отстраниться от языка в его исследовании невозможно. Исследователь оказывается внутри языка. И встать

в позицию внешнего наблюдения за языком можно ровно настолько, насколько позволяют это имеющиеся средства самого языка, не выпуская из своей сферы. Например, это фиксируется философией языка в дихотомии “метаязык” и “объектный язык”.

Первоначального “схватывания”, представления языка в целом, в основном опирающегося на интуицию, накопленную в практике его использования, недостаточно при более подробном рассмотрении языкового пространства, в которое помещен исследователь. Особенность этой позиции дает преимущество, а может быть и дополнительное осложнение, как посмотреть, отсутствие фиксированной раз и на всегда позиции наблюдателя-исследователя. Он должен как бы постоянно дрейфовать в языке, чтобы, хотя бы в интенции, избежать односторонности его представления.

Односторонность представления ассоциируется с “прямым взглядом”, который отсекает то, что при целостном рассмотрении входит в панораму “зрелища” и воспринимается “косым взглядом”. “Косой взгляд” смазывает четкие границы “прямого взгляда”, внося искажения в привычные очевидности.

Чтобы сделать более понятным смысл, который вкладывается в только что сказанное, попытаемся выразить его другими словами. “Прямой взгляд” — это фиксация в слове, в именовании, предметных очевидностей, которые, грубо говоря, можно потрогать руками. Это можно сказать остенсивный, первоначальный способ именованя того, что в каком-то смысле лежит на поверхности непосредственного значения. Но следующий шаг в установлении отношений уже между двумя предметами ведет к заглядыванию за предмет и за его имя, когда неминуемо опосредование.

Именно это обстоятельство фиксируется в том, что обычно называется “горизонтом”, “картиной мира”, установкой на целостное видение и тому подобное.

Здесь не обойтись тем значением слова, который возник из его непосредственного (обо)значения, необходима ссылка на контекст, на косвенное обстоятельство употребления этого слова. И именно в этом случае, в случае контекстуального употребления слова рождается его смысл. Смысл слова может совпадать с его значением, когда он однозначен. Именно поэтому их довольно часто не различают. Но это совпадение одномоментное. Смысл оставил след, материализовался в значении слова и исчез с видимой поверхности, но мы его имеем “ввиду”, подразумеваем, бессознательно следуем за ним, предчувствуя его появление. Можно сказать, что языковая реальность по параметру смысла обладает не только “поверхностью”, но и “глубиной”.

Языковая “субстанциональная материальность” со своими специфическими характеристиками предоставляет различные способы воплощения смысла. Он может быть воплощен в графике письма, в звуке, который произносится и слышится, в тексте, который осмысливается и понимается. Все это характеризует онтологию языка как сугубо гетерогенное, пористое образование, где однозначность смысла и его носителя возможна в каких-то предельных ситуациях. Набрасываемый смысл пропитывает язык как губку, оставаясь на поверхности, проникает внутрь. Человек, совершающий поиск своего смысла, обречен кружить в сфере смысла языка, иногда даже используя грамматику языка, чтобы грамматически выразить найденный смысл.

В онтологии языка оседают с разными сроками сохранения возникающие и исчезающие смыслы. Онтология языка поверяет собой пригодность возникших смыслов. Становящиеся смыслы, в свою очередь, не дают здоровому консерватизму онтологии языка, выраженному в его структуре, превратиться в догму.

Речь идет, таким образом, о постоянной соотнесенности и в пределе слитности до неразличения: человека и языка. Перефразируя Хайдеггера можно сказать, что язык “полагает себя нами”. Каков язык, таков и человек, также и наоборот.

Эгоцентрическая позиция классического подхода, исповедующего гладнокровную отстраненность субъекта [его выбор] по отношению к языку, дабы познать его в незамутненной прозрачности, при таком подходе оборачивается паритетностью, так сказать отношением без предпочтений. Наблюдатель-субъект так же может стать наблюдаемым, а наблюдаемое — язык — наблюдателем. Эта позиция, как представляется, создает возможность фиксировать иные, не традиционные возможности динамического расширения смысловой сферы языка, причем как бы изнутри.

За счет чего происходит такого рода изменение языка и в чем оно может состоять? Можно условно, с учетом выше сказанного, выделить три ситуации. Первая связывается с осмыслением предметной среды. Когда ранее исследуемый предмет, в данном случае unavoidably будет это собственно языковой предмет или предмет только описываемый с помощью языка, поворачивается иной стороной, оставшийся до недавнего времени без внимания. Кроме этого осмысляющая сфера языка может передвинуться и покрыть ранее не исследуемые области, скажем, области космоса или сегодня вызывающая большой интерес в некоторых публикациях проблематика биополей.

Вторая ситуация порождения смысла может быть связана с внутренним опытом, как языка, так и исследователя, с его памятью. В этом

случае преобладает комбинаторика известных смыслов накопленного опыта. Когда консерватизм системы смыслов довлеет над всякой смысловой новацией.

И, наконец, третья ситуация, которая, вообще говоря, совпадает с выше описанной паритетностью пребывания исследователя, субъекта или вообще человека в языке и которая две вышеописанные ситуации порождения смысла в языке содержит в себе имманентно. Ситуация, когда активность смыслопорождения той или иной части языка в целом может существенно сдвинуть акценты, приоритеты внутри него самого. Примерами такого рода изменений в языке могут служить ломка понятий и представлений с устоявшимися смыслами, скажем, в науке. Например, представление о системе, в каком виде оно существовало в общей теории систем, как оно использовалось в кибернетики и как оно оформляется сейчас в синергетике, служит тому ярким примером.

Но в том или ином случае язык или человек в языке вынужден пересматривать имеющиеся средства и искать новые, более адекватные средства для смыслового выражения.

При всех видах изменений, случающихся в языке мы остаемся в нем, если оставить пока без внимания патологические выпадения из языка (афазия и тому подобное). Здоровый консерватизм системы языка в первую очередь связан с ее нормативной частью, более подающейся формализации. Все разделы лингвистики: фонетика, морфология, синтаксис, семантика содержат в себе структурообразующее ядро правил. Причем, степень или возможность интерпретации, толкования или понимания, что связывается в первую очередь со смыслопорождением в языке, в разной степени проявляется в разных разделах лингвистики. Цельность, замыкающий характер языка образуется (образ круга), когда связывается фонетика в некоторых интерпретациях как предельно бессмысленная (без мысли, без слова, до слова) звуковая составляющая языка (разбор звуков, букв, буквенных сочетаний), с семантикой (за исключением ее формализованных теорий в логике), где понимающая составляющая языка более всего подвержена рефлектирующей способности разума, менее всего подающаяся формализации.

По некоторым убеждениям смысл возникает только в слове, в предложении, распознается в контексте и выходит из слова за контекст, в понимание, в так называемую сферу понимания, где проблема выражения в слове отнюдь не всегда решаема. Здесь намечается нечеткая граница языка, через которую в обе стороны может идти взаимодействие словесного понимания с бессловесным и тому подобное.

* * *

Сущность языка в различных ее трактовках сводится как правило к феномену знака, как порождению человеческой деятельности. Это утверждение, чтобы не провалиться в дурную бесконечность, надо понимать синхронно, одновременно и ни за одним из них не закреплено генетическое первородство. Одновременно как со-бытие, что не мешает их рассматривать в частных исследованиях приоритетно: сначала первое, потом второе и наоборот. Печать рождения отражена в структуре знака, по-разному выраженная, но сохраняющаяся суть взаимной корреляции осмысляемое-именуемое, звук-значение, означающее — означаемое, воспринимаемое — понимаемое, выражение — значение и так далее.

В знаке, в его структуре уже отражена та существенная особенность языка, способность к метапозиции по отношению к самому себе, языка ли или субъекта. Особенность метапозиции в языке состоит в том и это важно подчеркнуть в ее постоянной оборачиваемости. Корреляция двух сторон знака предполагает пусть временную, ситуационно выраженную предпочтительность рассмотрения знака, скажем, точка зрения осмысляемого на именуемое или наоборот. Или другой пример: обыденный язык может быть содержанием для метанауки, выраженном в лингвистическом анализе. Обыденный язык используется для выражения возникающего нового смысла или понимания результатов эксперимента в науке.

Это обстоятельство связано с тем, что по терминологии Оккама носит название “двойное познание”. Другое дело, для удобства употребления, многовековая прагматика использования языка закрепила рассмотрение одной из сторон знака или языка в целом, имея другую как бы “в виду”. Отсюда различные мистификации и гипертрофия той или иной стороны языкового знака, учитывая небесконечные возможности человеческого разума. Рационалистическая тенденция к аналитическому расчленению, рядоположенности рассматриваемых явлений, понимание сложности как механической суммы, запреты на рассмотрение синтетических суждений, как стало очевидно, имеет свою строго ограниченную область применения.

Поворот в философии языка в сторону синтетического объединения нерационализируемой до сих пор составляющей языка, попытка синтезировать “двойное познание” за счет легитимизации таких составляющих языковой деятельности как психика, телесность, пользование языком по своему усмотрению, используя накопленную культурой достояние через метафорическое заимствование из ранее непересекаемых языков — все это ждет своего осмысления.

Бытие смысла и существование о-смысляющего в смысловой среде

Смысл: аксиома существования

Смысл как коррелят и эффект-результат понимания существует только для “ясного и отчетливого сознания”, без предполагания которого абсурдно говорить о каком-либо смыслопрочтении. Хотя источником и средой смыслопорождения может выступать все что угодно (лишь бы оно было дано и доступно опыту): от явлений природы и исторических происшествий до аффективных телодвижений (мимика, жест, пластика поведения) животных и людей. Но все это наделено смыслом только для воспринимающего и присваивающего смысл сознания и может иметь место только в его “окрестностях”, в его горизонте. Иначе говоря, имеется продуманная еще классическим трансцендентализмом “принципиальная координация” сознания с его формами, фактами и актами и всего того, что может стать предметом опыта как такового. Отсюда неизбежный круг традиционных онтогносеологических вопросов, которые в данном случае можно обобщенно обозначить как *хронотоп* смысла: где и когда существует смысл? Где его “место”? Он безотносительно к чему-либо предан и задан или же соотносен с ситуацией человеческого существования, неотделим от нее, а значит преходящ, ситуативен, темпорален и не образует никакой внешней “объективной реальности”? Выбор варианта ответа (если не отвергать саму постановку вопроса) предполагает опору на одну из базовых философских стратегий, среди которых: платонизм (бессубъектность, вечность, неизменность и предзаданность смысла, его самобытие “до, вне и независимо от”); трансцендентализм (относительность к субъекту, его структуре, оснащению, состоянию и тому подобное); натурализм (смысл – эпифеномен языкового поведения по кодированию и обмену информацией, что сводит его к верифицируемому, инструментальному и конвенционально фиксируемому “значению”).

Область смысла

Область смысла – это область моего и нашего (со-) присутствия в мире, (со-) переживания своего (нашего) существования. То есть область смысла – бытие в мире и восприятие мира “в окрестностях человека”. Считать, поэтому, что сферой смысла, где он пребывает, а не просто обнаруживается и оформляется, является язык (понятый

даже и как “среда”, а не просто как средство коммуникации) — значило бы придавать ему статус активной и самосушей субстанции (подобные признания можно найти, например, у Гадамера). Тем самым повторяется стандартный мыслительный ход классического философствования, испытывавшего имманентную потребность в адресе, по которому можно указать на “истинно-сущее”, “подлинное”, “на самом деле” и тому подобное.

Смысла нет там, где нет акта выражения, выражающего субъекта и объекта его восприятия-переживания (причем одновременно и произвольно-спонтанного, и вынужденно-заинтересованного).

Субъективность смысла

Субъективность — это необязательно психологизация и психологизм. Все зависит от того, как изначально тематизируется человек. Если в нем натуралистически видеть члена “натурального ряда” вещей, “часть природы” и тому подобное, то останется совершенно непонятной его способность как к математическому, например, познанию (созерцание и подчинение логической необходимости эмпирического психо-физического существа тогда выглядит как непостижимое чудо), так и к овладению самим языком. Можно для вящего удобства терминологически различать субъективность и субъектность и констатировать субъектность смысла, которая и онтологична, и объективна, поскольку субъект-наблюдатель смысла не может осмыслить себя из актуального здесь-теперь-так- а-не-иначе, не совершив тем самым именно неосмысленной и чисто номинально-словесной процедуры, напоминающей в чем-то образ улыбки чеширского кота.

Когда говорят о порождении смысла в самом акте смыслопрочтения (или диалоге с Другим), то уже предполагают сознательный комплекс усилия, волевой устремленности, целезаданности. Рефлекторно реагирующая на нечто внешнее живая плоть, “беспамятное тело” — не может быть ни носителем, ни владельцем-восприемником, ни генератором смысла, но лишь элементом окружающей Среды, способным быть лишь источником восприятия смысла для кого-то другого, для субъекта-наблюдателя. Поэтому, как я полагаю, сохраняется все свое значение именно *трансценденталистская* схема: критико-рефлексивная, самоотчетная субъективность есть мера всех смыслов (что отнюдь не означает, что смысл “назначается” произвольно; даже игровые экспериментации-провокации именно осмысляются в модусе таких, например, вопросов, как “ну, и что?” “что это значит?” “почему это может быть интересно?” и так далее). Смысл, в свою очередь есть мера и форма моей самоотчетности и идентичности, удер-

жания себя в себе и для себя, моего пребывания в мире, а не наличия в нем в качестве мимолетной детали пейзажа, безразличной для любого другого наблюдателя, в свою очередь озабоченного сходными проблемами. Все остальное: устройство моего физического тела, наполнение и автономия моего бессознательного и прочее в том же роде — лишь условия (пусть важнейшие и ближайшие), лишь несущая основа, лишь окрестности моей самости и самоидентичности.

Смысл в языке

О смысле приходится говорить в двух “смыслах” (хотя это и не то, что имел ввиду Мерло-Понти, выдвинувший знаменитый тезис о “двусмысленности смысла”). Первый из них сравнительно тривиален: смысл как коррелят и результат локальных, единичных актов понимания. Мы понимаем высказывания, тексты, жесты, ситуации (положения дел), факты в их связи и тому подобное. Здесь смысл выступает как форма связного сознания, направляющего наше поведение и обеспечивающего единство опыта и практически-адекватную степень самоидентичности. Ведь что-то, упрощенно говоря, связывает в значащее слово и фразу последовательность букв, что-то превращает поток акустических колебаний в звуки, звуки в фонемы, фонемы в слова и так далее. И никакая физиология, никакой объективный (в натуралистическом смысле слова) подход не помогут понять, в чем тут дело. Осмысленность и смысл как таковые для сознания априорны, суть формы его существования, самодвижения и самоудержания.

Смысл как событие

Второе значение слова смысл интереснее и косвенно подводит к возможности строить предположения об онтологии смысла (что не менее трудно, чем в вопросе об онтологии сознания). Смысл — это нечто, что живет в актах сознания, в динамике внимания-удостоверения, волевого воспроизводства, и о бытии чего следует, видимо, говорить не только и не столько в платоновой стилистике пребывающих структур, по матрице и вокруг которых вертится запечатлевшее их изменчивое сознание, сколько, скорее, в динамической энергичной стилистике, мощную интуитивную и концептуальную основу которой заложил еще Аристотель (в частности, в трактате “О возникновении и уничтожении”). При таком сдвиге угла зрения феномен смысла предстает как событие, где существенно ощущение необратимости, внезапности и неожиданности, некой фатальности и принудительности, уникальной неповторимости, но отнюдь не случайности (взятой в меланхолическом скудоумном модусе “могло быть, а могло не быть.. могло так, а ведь могло и иначе..”). Однако, что счи-

тать событием? Едва ли пестрое мельтешение изменений и происшествий в перцептивной поле было бы продуктивно называть событиями, — разве что по ни к чему не обязывающей привычке обыденного языка. Смысл как событие и событие смысла должно мыслиться как нечто, нарушающее мою привычную систему диспозиций и ожиданий в ходе понимания-осмысления, как нечто такое, что вмешивается в наполнение моей идентичности, требует пересмотра и нового удостоверения того, что я в ней считаю важным, неслучайным, надежным и должным. Иначе говоря, речь идет о кризисе, надломе, перспективе переоценки ценностей, о потрясении основ. Максимальная интенсивность подобного бывает в так называемых пограничных ситуациях (вина, болезнь, угроза смерти, религиозное озарение и проч.).

А.А.Парамонов

Экология языка

Мне хотелось бы предложить подойти к рассматриваемым здесь вопросам о языке, смыслопорождении, диалоге и в связи с этим, естественно, проблеме Другого с позиций, которые можно было бы назвать, если угодно, экологическими. Мне кажется достаточно интересной модель представления языка в качестве среды жизни человека, что-то вроде водной среды для морских обитателей, которую те не покидают, даже погибая. Можно сказать, что для нас интерес будет представлять не то, что находится в нашей голове, а то, в чем находится наша голова.

Модель или, если угодно, метафора языка как среды порождает целый спектр возможных рабочих метафор. Так, мы можем говорить о средовых характеристиках, таких как плотность и упругость, податливость и жесткость. Особенно интересными на мой взгляд представляются здесь связанные со средой световые метафоры: прозрачности, чистоты, искривленности, ясности, очевидности.

Понятно, однако, что средовые характеристики только в том случае оказываются собственно средовыми, когда являются характеристиками условий при которых только и происходят те или иные события. Это, естественно накладывает определенное ограничение на обнаружение самих этих средовых свойств. Если мы начинаем “видеть”, допустим, собственно прозрачность световой среды, то мы оказываемся слепыми, поскольку разрушаются условия наблюдения. В этом

смысле, свойства среды не выступают в натуральном виде в нашем опыте жизни в данной среде, а остаются на его периферии, своим наличием обеспечивая этот опыт.

И раз уж мы начинаем говорить о языке как о среде обитания, то возникает и вопрос о телах, живущих в этих средах. В принципе, можно предположить существование неких идеальных для данной среды тел. С точки зрения принятого нами экологического подхода то, каким “телом” должен обладать я в качестве идеального обитателя конкретной языковой среды, должно “вычитываться” из самой среды. т.е. предполагается, что в языке, понимаемом как среда, должны существовать некоторые самоинтерпретирующие фрагменты, они то и определяют то, что можно было бы назвать перцептивными стратегиями данной языковой среды. Здесь возможны разного рода “неузнавания” или “неприятя” тела, предлагаемого нам в качестве нашего тела. Особенно важными для нас могут оказаться ситуации смены перцептивных стратегий. Возможно в такого рода ситуациях, если попытаться их растянуть, придавая им “онтологический” статус, и могут быть засечены собственно средовые эффекты.

Данный подход обладает на мой взгляд тем важным для нас достоинством, что позволяет работать как с научными, так и с художественными текстами.

Возвращаясь к тем же “позитивистским” мыслителям, то в их попытке “точечного”, фактуального или протокольного описания реальности для нас будет представлять интерес собственно языковые условия и средства производства и обеспечение подобной точечности.

Я.И.Свирский

От языка к смыслу

(Тело как посредник между бытием и ничто)

Обращение к категории “смысл” сопряжено с рядом трудностей, одна из которых связана с традиционной для философских и логических исследований оппозицией “истина-ложь”. Дело в том, что и истина, и ложь обладают смыслом. При этом следует учитывать, что смыслом наделены далеко не только словесные высказывания, претендующие на обозначение более или менее познанной реальности, но и невербальные действия, вплоть до спонтанных телесных отправлений (как это демонстрирует психоанализ).

В данном выступлении мне хотелось бы показать, что само представление о смысле *двусмысленно*. С одной стороны, обсуждая смысл того или иного явления, наблюдения, открытия или текста, мы волей не волей вынуждены обращаться к критериям, задающим достоверность предлагаемой нам информации. С другой стороны, нас может интересовать и сам способ получения нового знания, то есть способ обнаружения новых смыслов. Но насколько эти смыслы “новы”? Со времен неокантианства известно, что конкретное эмпирическое познание должно быть “догматическим”, то есть допускать без проверки некоторое количество предпосылок, так как если бы оно этого не делало, то не существовало бы³. Значит, смыслы предзаданы, а если они и меняются, то нам суждено лишь фиксировать подобную смену и более или менее точно описывать возникающие устойчивые, хотя бы какое-то время, образования (как это делал для науки Кун, а для истории Тойнби), не претендуя на понимание диахронных процессов (Ф.Соссюр). Исследования последних десятилетий показывают, что есть конструктивные подходы — весьма нетрадиционные с точки зрения классического философствования — к обсуждению проблемы смены смыслового содержания той или иной теории, или даже шире, того или иного способа мышления (к примеру, можно говорить о разных типах рациональности). Использование термина “смысл” вместо таких слов, как “идея”, “категория”, “верификация”, “достоверность”, “факт” и так далее, может оказаться тем позитивным началом, которое позволит понять неуловимые переходы между “до” и “после”.

Чтобы как-то подойти к обсуждению статуса “смысла” — будь-то смысл предложения или же смысл того, что происходит вокруг

нас, — мне хотелось бы прибегнуть к помощи известного фантаста Роберта Шекли, а именно к его роману *Обмен разумов*.

“Всякое направленное действие содержит элемент опасности... Только держитесь подальше от Искаженного Мира”. Такой инструкцией снабдили Марвина Флинна — героя романа Шекли — перед тем как тот решил обменять свое земное тело на тело марсианина с тем, чтобы побывать на иных планетах. Однако Флинн не последовал этому совету, полученному в начале своих удивительных приключений. В погоне за собственным телом, украденным космическим разбойником Каргашем, он “ныряет” вслед за похитителем в Искаженный Мир, где в жестокой схватке отвоевывает первоначальный облик.

Но что известно об искаженном мире? Ничего! Именно поэтому от него следует держаться подальше. И тем не менее, в конце повествования Марвин возвращается на Землю целым и невредимым, “ибо есть в Искаженном Мире причинная связь, но есть и отсутствие причинной связи. Ничто там не *обязательно*, ничто не *необходимо*. Поэтому вполне допустимо, что Искаженный Мир отбросил Марвина назад на Землю, продемонстрировав свою власть над ним тем, что отказался от этой власти”. Чтобы подчеркнуть парадоксальность такой фантастической реальности, Шекли приводит теорему: “Среди вероятностных миров, порождаемых Искаженным Миром, один в точности похож на наш мир; другой похож на наш мир во всем, кроме одной частности; третий похож на наш мир во всем, кроме двух частности, и так далее”. Ирония, заключенная в данной теореме, состоит еще и в том, что описанный в произведении так называемый “нормальный наш мир” являет собой чудовищную картину нелепостей, бессмысленностей и кошмаров.

Но Флинн хочет домой, и дома “все оказалось на своих местах. Жизнь шла заведенным чередом: отец пас крысиные стада, мать, как всегда, безмятежно несла яйца. Разве дубы-гиганты не перекачевывали по-прежнему каждый год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении темного спутника? Разве у тройных звезд не появлялись каждый месяц новые кометы в полнолуние? Марвина успокоили эти привычные зрелища”.

Итак, отпустил ли Искаженный Мир персонажа Шекли? Сам герой, не смотря на долгие раздумья и наблюдения, не сумел обнаружить произошедших перемен. Да и были ли перемены? Кто задал критерий подлинности той реальности, в которую так стремился вернуться Флинн. Подлинным было лишь само стремление возвратиться, возвратиться во что бы то ни стало. Лишь само это стремление оставалось неизменным, его только укрепляли те уродливые и ужасные создания, которые встречались смельчаку во время странствий.

Не будем забывать, что мы имеем дело с фантастическим романом, ориентированным на то, чтобы развлечь читателя. Увлекательность повествования стирает рамки разумного и неразумного, возможного и действительного. Такие рамки даже не предполагаются в процессе чтения и восприятия читаемого. Читатель сам ныряет вместе с главным героем в Искаженный Мир, и этот мир можно назвать Миром Языка – миром, где возможное становится действительным, хотя бы в виде вполне осознаваемых слов (здесь нет претензий на модернистские опыты с фонемами и морфемами), обладающих значением и зафиксированных на бумаге. Недоумение и смех возникают на уровне столкновения разноплановых смыслов. Значит, само искажение смысла (в который, согласно Бергсону, мы погружены изначально, и можем судить о нем лишь косвенно) происходит не благодаря изощренным изыскам экспериментаторов от литературы, а в силу внутренних особенностей самого языка.

Но что значит искажение смысла, если он задан как бы изначально. Может быть стоит сменить терминологию и заявить, что смысл только и пребывает, что в “искажении”. Или лучше, что смысл, будучи безмолвным спутником всякого дискурса, явным образом обнаруживает себя там, где подобный дискурс не то что рушится, а хитрым образом ставит себя под сомнение, ведь “мать, как всегда, безмятежно несет яйца”.

То есть, смысл маркируется лишь в тех точках, где происходит скачек от “прежнего смысла” к “уже наличному смыслу”, причем прежний смысл невосстановим, и о нем осталось лишь смутное ощущение, или а-воспоминание. На ум приходят строки из забытой песенки Вертинского: “Это было, было и прошло, все прошло и вьюгой замело, от того так пусто и светло. Вы, слова залетные, куда?”.

Итак, можно говорить о по крайней мере двух значениях слова **смысл**. Обозначим их так: **Смысл** и **Смысл**. **Смысл** – это то, к чему мы неявно апеллируем, когда предполагаем адекватность понимания (у собеседника или читателя) сообщаемой ему информации. **Смысл** – это то, что возникает, когда не срабатывают механизмы, обеспечивающие присутствие **Смысла**, это “искажения” **Смысла**, в которые мы вынуждены нырять, дабы обрести собственное тело.

Поясним, что здесь имеется ввиду. **Смысл** как искажение **Смысла** указывает, или намекает, на то, что у него должно быть как бы собственное “место обитания”. Если для **Смысла** такими местами выступают либо заоблачный мир Платона, либо чистый разум Канта, либо Абсолютный дух Гегеля, либо традиция Гадамера (сюда же, в принципе, с некоторыми оговорками можно отнести и Бытие Хайдеггера),

то *Смысла*, в силу своего постоянно исчезающего (или искажающегося) существования, не принадлежит ни одному из этих регионов. Соответственно меняются и способы его достижения. Если к *Смыслу* “прикасались” с помощью анамнезиса, трансцендентальной логики, диалектического движения, вживания в традицию или вслушивания в язык (желательно архаичный), то мимолетность *Смысла* предполагает какие-то иные приемы его регистрации (или “засекания”, как говорил Мамардашвили) – приемы, не пренебрегающие выше указанными “техниками”, но обладающие собственными, ни к чему не сводимыми характеристиками, причем способ выражения этих характеристик также, по-видимому, весьма специфичен.

Резюмируем выше сказанное так: *Смысл* можно представить себе в виде некоего скрытого зерна, под оболочкой которого уже находится все многообразие смыслов-идей, тогда как *Смысл* указывает на ситуацию смысло-самоорганизации и предполагает отсутствие каких-либо заранее предсуществующих смыслов, где бы последние ни располагались. То есть, здесь мы возвращаемся к уже известной оппозиции Бытия и Становления.

И если речь идет о поиске места *Смысла*, то такое место должно вбирать в себя все (или некоторые) характеристики становления, непрерывного убегания от “еще” и “уже”. Термин “место” утрачивает экстенсивные параметры, оставляя за собой чистую интенсивность – “интенсивное место”, маркирующее мгновенное ускользание. Кант писал по этому поводу: “Величину, которая схватывается только как единство и в которой множественность можно представлять себе только путем приближения к отрицанию = 0, я называю *интенсивной*” (Критика чистого разума. С. 243). И через несколько страниц: “От экстенсивной величины явления можно совершенно отвлечься и тем не менее в одном лишь ощущении (по существу *интенсивном* в отличии от созерцания, по существу *экстенсивного* – *Я.С.*), занимающем одно *мгновение* (курсив – *Я.С.*), представлять себе синтез однородного возрастания от 0 до данного эмпирического сознания” (Там же. С. 248). В приведенных цитатах указывается на мгновенность, если так можно выразится, “интенсивного синтеза”, но за интенсивными величинами Кант оставлял возможность их градации, что было подвергнуто острой критике со стороны Бергсона.

Критика Бергсоном дискретного представления мира – мира, который, как он считал, только и может исследовать математизированное естествознание – привела к тому, что интенсивность стала характеристикой жизненного усилия, не разлагаемого на дискретные моменты и присутствующего между сознанием и действием. Интен-

сивность задает некую непрерывность (не ухватываемую в одном мгновении в виде ощущения той или иной степени) между последними. “Переход от идеи к усилию, от усилия к действию до того непрерывен, что мы не можем сказать, где кончаются идея и усилие и начинается действие” (Бергсон. С. 142).

Промежуточную область между сознанием и действием можно назвать телом — интенсивным телом: телом-напряжением, телом-аффектом. Причем за таким телом уместно сохранить и свойство мгновенности, присутствующее в интенсивном ощущении Канта. Но подобная мгновенность — это не мгновенность возрастания интенсивности “от 0 до данного эмпирического сознания”, а мгновенность некоего аффективного неделимого движения тела — тела, переставшего быть только лишь физическим агрегатом. Причем Кант обсуждал проблему интенсивности в рамках обоснования того, что, “хотя все ощущения, как таковые, даны только *a posteriori*, но то свойство их, что они имеют степень, может быть познано *a priori*” (С. 248). То есть речь шла о “необычном значении” понятия антиципации — антиципации интенсивных ощущений. Представление же об интенсивном теле перпендикулярно размышлениям о предвосхищении (антиципации), оно не сводится к каким-то физико-биологическим характеристикам. Здесь мы вступаем в область не предвосхищаемого (прогнозируемого, исчисляемого) тела, а тела без предвосхищений. (“Марвин нанес Краггашу удар под ложечку, затем снова удар — в нос. Краггаш проворно обернулся Ирландией, куда Марвин вторгся с полулегионом скандинавских конунгов, вынудив Краггаша предпринять на королевском фланге пешечную атаку, которая не смогла устоять против покерного флеша”.)

В этом отношении тело без предвосхищений противоположно феноменальному телу, насыщенному, по терминологии Гуссерля, “ноэматическими ядрами” (некий Афганский пейзаж, где в каждой воронке от снаряда может крыться душман, знающий, что делать), то есть оно противоположно телу как области изначальных сигнификаций. Одновременно, оно противоположно и экзистенциальному телу, ангажированному в **Смысле**.

Тело без предвосхищений, интенсивное тело, выступает как коррелят искажения **Смысла** и является местом смысло-порождения, или **Смысла**. Тогда можно ввести еще одно различие. Если **Смысл** предполагает наличие Другого, общаясь с которым мы обеспечиваем собственное “мы” (пусть даже, как полагал Сартр, и под взглядом Другого), то **Смысл** подразумевает не только рассеивание Другого, но и, вытекающую из такого рассеивания, дезинтеграцию Индивидуально-

го Эго. Здесь мы “ныряем” в своего рода лейбнищевский мир монад, в микрофизику телесных отправлений, выступающих в качестве основания для вторичного и главного **Смысла**. Мы попадаем в мир микрокоммуникаций, обеспечивающих наличие Прямой Коммуникации, или Диалога.

В таком случае, по-видимому, можно сказать, что **Смысл** — это структура, а **Смысл** — это Среда. И здесь уместна метафора (если понимать под метафорой не только лингвистический троп, но и инструмент исследования) из синергетики, а именно, **Смысл** — открытая нелинейная самоорганизующаяся Среда, в которой имеются свои источники и стоки смыслопорождающей “энергии”.

Причем такие источники и стоки не могут быть наделены статусами “внутреннего” или “внешнего” по отношению к самой Среде. Сами “внешнее” и “внутреннее”, обретая качество интенсивности, становятся взаимозаменяемыми и задают пучки **Смыслов**, определяемых затем как Точки зрения. Продолжая синергетическую метафору, можно дать здесь иллюстрацию из жизни микромицета. Клетки последнего живут раздельно, если есть пища. Но если еда заканчивается, микромицет собирается в определенном месте. Перед этим клетки испускают некую информацию (носителем которой выступает специфическое вещество — цАМФ). Каждая клетка микромицета, получив такую информацию, усиливает ее, сообщая как бы, что пищи нет. “Совершенно ясно, что сами клетки “не сознают” смысл получаемой информации, но сложная игра испусканий, увеличение концентрации и диффузии молекул цАМФ приводит к образованию спирального распределения концентрации цАМФ, то есть к рождению информации на более высоком уровне. Поскольку эта информация порождается кооперативным действием системы, мы можем назвать ее *синергетической информацией*. Ясно, что в этом случае мы отчетливо различаем производство информации, носителя информации и приемник информации — клетку, цАМФ и снова клетку. Однако, как не трудно заметить, на следующем уровне возникает новый смысл, а именно структура распределений концентраций молекул, которая направляет клетки к центру скопления” (*Хакен Г.* Информация и самоорганизация. С. 50). Итак, за счет “неосознанного” корпоративного действия возникает **событие Смысла**, которое обеспечено *смысловой* средой. За счет “жизненного усилия” клетки микромицета маркируют и формируют как источники, так и стоки, задающие некую интенсивность, располагаемую между сообщаемой информацией (молекулы цАМФ) и действием (собрание возле определенного места).

Сами источники и стоки сообщают *Смыслу* характеристики интенсивности, а не только лишь структурности. **Смысл** удерживает в себе “деспотический режим означающего, в котором обитает паранойя” (Делез). *Смысл* же, изначально “искаженный”, несет в себе Событие, воплощаемое в интенсивном (совокупном, корпоративном и не превосходящем) теле.

Событие (термин необходимый для прояснения того, что такое *Смысл*, и комплиментарный последнему) выступает как способ выражения интенсивности тела без предвосхищений – совокупного, молекулярного, составленного из монад тела. Можно сказать, что *Смысл* выступает здесь как Событие **Смысла**. Именно Событие разделяет “еще” и “уже”. Но такое “еще” оказывается скрытым после наступления “уже”. “Еще” проваливается за порог необратимости (Мамардашвили), и подобный провал дает возможность существованию “уже”. То, что осталось позади, превратилось в Ничто, в *пустое понятие без предмета* (Кант), которое обеспечивает присутствие наличного “уже”.

В данном случае речь идет не о “выдвинутости нашего бытия в ничто на почве потаенного ужаса” (Хайдеггер), скорее, под Ничто здесь следовало бы понимать такую необратимость, за которой **Смысл** уже отсутствует, а *Смысл* прекратил действовать, но после которой мы имеем **Смысл** и можем говорить о *Смысле*.

Интенсивное тело (непредвосхищаемое тело), в котором собираются вместе молекулярная физика и язык, оказывается трансцендентальным полем, где разыгрываются события, маркирующие присутствие того, что мы назвали *Смысл*, – полем, выступающим как граница между землей и небом, между тягой вернуться домой и стремлением побывать в иных мирах. На такой границе “дубы-гиганты кочуют на юг”.

Тело выдвинуто в Ничто, но оно же структурирует Бытие. И язык тела перестает быть “цветением уст”. Он не раскрывает мысль для бытия, а формирует великолепие ничейной бытийности, “трансцендентального поля без Я”, “четвертого лица единственного числа”⁴.

О “смысле” вопрошания о смысле

Наши разговоры неоднократно натыкались на вопрос о смысле вопрошаний о смысле. Причем наткнувшись, начинали вокруг этой лакуны непонимания коловращаться как листья в водовороте ручья – то стремительно приближаясь и притягиваясь друг к другу, то также стремительно, вследствие непонятных и неконтролируемых причин, разлетаясь в стороны. Общее понимание смысла “смысла” в контексте его функционирования в научных дискурсах (прежде всего в рамках доктрины самоорганизации) то маячило где-то совсем рядом, то вновь ускользало.

В своем выступлении мне хотелось бы отрефлексировать некоторые языковые игры, в которые мы втягиваемся оказываясь на поводу у вопроса о смысле. Прежде всего надо бы обратить внимание на оппозицию, которая рефреном звучала во многих выступлениях. Смысл, о котором ведется речь, понимается либо как возникающий в акте говорения, порождающем смысл (происходит смысле-порождение). Или же языковое высказывание лишь “освещает” или “проясняет”, т.е. помогает обнаружить в присутствии то, что, как писал Виттгенштейн, некоторым образом “уже разложено на столе”. В этих случаях говорят о смыслообнаружении.

Но в любом случае, желание обладать смыслом является поводом, который влечет втянутых в разговор к некоторому конечному состоянию удовлетворения, которое обычно называется пониманием. Мучения и удовольствия от чтения/слушания себя и другого, которые случаются с беседующими по ходу языкового общения и как-бы постоянная отсроченность оргазма полного смыслового взаимного проникновения и слияния во взаимопонимании, поддерживают диалог в состоянии перманентного движения.

При этом бессмысленно предаваться отчаянию по поводу недостижимости результата. Философская игра в прояснение смысла или порождение смысла имеет “смысл” сама по себе. В ней проистекает формообразование человеческого существа, идентифицирующего себя как некую определённую через акт овладения смыслом своего или чужого существования. В ней же этому существу предоставляется пространство для осмысленного само-выражения – определенные процедуры, с помощью которых он может удостовериться в подлинности своего присутствия в мире.

Философская игра на поводу смысла — серьезное занятие, порой трагически серьезное. В ней ставка — все, а результат слишком часто — ничто(жен). Однако не смотря на серьезность — это все же игра, и как таковая она построена на целом каскаде условностей. И первая условность в том, что поиск смысла уже должен иметь искомый смысл перед собой как вполне определеннный объект интеллектуального влечения. Например, задаваясь вопросом — в чем смысл метафоры спорящие начинают “делать вид”, разыгрывать по определенным правилам ситуацию. Во-первых, они предполагают, что знают о чем спорят, т.е. “то о чем” идет речь неким образом удерживается в присутствии самим именем — “метафора”. Всем ясно, что речь идет не об огурах в банках и не о гиперболах, а о “не ином” того, что именуют этим словом.

Во-вторых, они дружно сходятся на том, что не знают и не понимают — что это такое. Что им собственно недостает для подлинного понимания и ясности зависит от того, какими технологиями прояснения дискутирующие владеют. Для фрейдиста метафора — это своеобразный трансферт и фаллос является метафорой метафор. Для Виттгенштейна — всё дело в профессиональном кретинизме и отдаленности от обыденного языка. Для Хайдеггера фактически в том, что современные люди забыли язык досократиков, у которых слова были вещаниями вещей. Для структуралистов — в инвентаризации средств ведения сражений в “войне языков”, а для физикалистов — в несоотнесенности метафоры с протокольными суждениями и так далее.

Продвигаясь в процедурах понимания все “глубже и глубже” мы как-бы участвуем в двух разнонаправленных движениях и, одновременно, — в состоянии покоя. Мы увеличиваем степень осмысленности мира и, в той же степени его непонятность, проблематизированность. Для теоретиков лингвистов и философов метафора гораздо более непонятная вещь чем для обывателей. Проникая глубже, чувствуешь как стремительно уменьшается доля познанного в сравнении с тем, что не вмещается в круг освоенного понятием. Одновременно, сама метафора как повод размышления продолжает неподвижно присутствовать в том же “месте” в качестве “не иного” для мысли. Присутствовать и тянуть, постоянно подставляя вместо себя свой смысл — как тореадор — красную тряпку для разгоряченного быка. Смысл метафоры как-бы одновременно увеличивается, уменьшается и остается неизменным.

Причем в каждом микро-социуме свои правила узнавания того, что можно считать проблемами, что средством их прояснения или решения, а что сигналом для высвобождения в процедурах письма/чтения катарсиса удовлетворения от достигнутого “успеха” или отча-

нения от неудачи. Входящий в микросоциум философской группы ученик постепенно овладевает навыками соучастия в специфических языковых играх определенной группы. У него, если использовать термин Н.А.Бернштейна, формируются функциональные органы, позволяющие переживать влечение и желание смысла в определенном клишированном групповыми установками смысле. Структурируются также свои органы переживания удовольствия от овладения смыслом. Наряду с этим создаются “органы” интеллектуальной визуализации — некая физиологическая оптика пригнанная под онтологию данного мира данной философской языковой игры. Впрочем, если взглянуть на дело в стиле Беркли, этот оптический аппарат функциональных органов сам и продуцирует эту онтологию. В подражании Томасу Куну или Мишелю Фуко этот динамический паттерн обычно неписанных правил, формообразующий аффективно интеллектуальное тело о-смысляющего, можно было бы назвать “парадигмой”. Однако это слово как тот гость, который приходит всегда не один а с семьей и родней. Мне было неудобно о нем не упомянуть, но в разговор его впускать воздержусь.

Выведу из разговора и упоминание о неписанных правилах. Это характерный предрассудок классического рационализма — видеть в происходящем некий трансцендентный или трансцендентальный скрытый порядок, в частности в действии — правило. Однако человек многое умеет делать без рефлексивной формулировки правил своих действий. Например, все мы с лёгкостью различаем кошек и собак. Когда же компьютерщики попытались сформулировать “правила” (программы) для распознавания этих образов, то задача оказалась далекой от тривиальности и решаемости. Ссылка на неписанные правила для реальной практики различения ничего не дает. Она имеет смысл в лучшем случае как повод для затевания профессиональной игры на поиск еще одного особенного “смысла”. Но в моем обсуждении этому словосочетанию места не найдется. Меня интересует лишь языковая игра, идущая по поводу смысла как-бы сама по себе.

В частности мне важно отметить, что когда свой язык приобретает статус “естественного”, то игры в других языковых мирах начинают казаться неинтересными, надуманными, каким-то бредом. Мне кажется, что основное раздражение для Поппера, когда он писал “Открытое общество” представлял не сам тоталитаризм, а то обстоятельство что по правилам языковой игры философской критики ему пришлось читать тексты Платона, Маркса и особенно Гегеля, в которых использовались чуждые для него технологии языковых игр. Тексты выглядели сплошным бредом. Это была подлинная пытка, которую я могу с со-

чувствием оценить поскольку раньше, будучи отпетым гегельянцем, заставлял себя читать для общего “образования” неопозитивистов.

Мне кажется, что тезис о смыслопорождении, который увязывает наблюдаемый смысл с технологией его “приборного” наблюдения, дает некий шанс на связанность опытов прояснения смысла в разных языковых мирах и тем самым позволяет избежать ситуации сумасшедшего дома в современной философии. Как известно, психиатрическая практика основывается на социальной изоляции тех, кто диагностирован как не-нормальный, без-умный.

Если группа философов начинает воспринимать свою языковую игру как естественный стандарт понимания (о-смысления), то все инако-мыслие (т.е. языковые игры в других философских группах) воспринимается как не-нормальное. Инстинктивно, как и в психиатрии, срабатывает репрессивный “рефлекс” социальной изоляции отлучения девиантов — “это не философия”, или — “это уже устарело”. То, что “они-девианты” делают бес-смысленно а поэтому нам не имеет смысла с ними говорить и спорить. Философское сообщество распадается на множество “палат”, в каждой из которых сидят “диагносты” всех остальных рассматривающих либо как недо-развитых(не-образованных), либо как больных.

Репрессивная акция дискриминации других, присутствующая в вопрошании о смысле, одновременно сглаживает не других в некое сообщество при-общенных — в “мы”. “Мы” — это просвет коммуникабельности, в котором общение имеет некий смысл как общий для общающихся повод, стягивающий в совместные процедуры смыслопорождения или смыслообнаружения. Меня не тянет общаться с “ними” поскольку подобное общение будет бес-смысленным. В просвете “мы” происходит взаимно-признание общающихся, их взаимное узнавание и различение как специфически идентифицируемых лиц. Контурь другого “Я” прорисовываются для меня через точки сопротивления, несогласия с моим истолкованием смысла. Смысл при этом играет роль “объекта” — того особого топоса, в котором “Я” слышит возражения другого. Как известно, основное значение английского глагола “object” означает возражать.

Иными словами, смысл представляет собой общее место встречи, находящихся на его поводу — то место, в котором они друг друга могут различить именно как различно о-смысляющих. В этом смысле вопрос о смысле напоминает посох Бора, который методом тыка открывает присутствие иного. Но если измерение физического объекта открывает присутствие иного идентифицируемого как природное образование, то выражение смысла направлено на обнаружение в

коммуникативном пространстве “мы” другого идентифицируемого как другое о-смысляющее существо.

В экспериментальных ситуациях сопротивление природы осмыслению обычно выступает как рассогласование между теоретически вычисленными значениями и эмпирически измеренными. Порядок вещей в природе “возражает” порядку идей в голове ученого. В этом рассогласовании экспериментатор может услышать возражения природы и как недостаточность теории, и как неточность самой экспериментальной процедуры. Пожертвует ли он теорией во имя факта или фактом во имя теории – результат непредсказуемого стечения обстоятельств.

Роль смысла в языковой игре также самая. Он – существенный элемент герменевтического пред-понимания. В акте чтения текста автора читатель “набрасывает” смысл на возможный результат чтения, обеспечивая пред-сказание возможного высказывания или пред-чувствие результирующего аффекта чтения. Рассогласование предчувствия со случившемся аффектом, а предсказания с совершившемся движением высказывания не только провоцирует следующий виток опробывающего движения осмысления, и одновременно создает переживание границы на которой самость читаемого сопротивляется самости читающего. Многообразии подобных границ, которые актуализируются по ходу разговора по поводу смысла образует некую конфигурацию самостей говорящих в коммуникативном пространстве разговора.

Вместо заключения

Первоначальные контуры, которые возникли из совместного рассмотрения феноменов языка и синергетики, наметились следующие. Уже на первый взгляд, исходя из такой тривиальной предпосылки, что синергетика как научное направление неизбежно прибегает в своем изложении к языку и тем самым следует его правилам, правда, уже по поводу своего предмета, образует специфический язык синергетики. Таким образом, в синергетике, как относительно новом научном направлении идет формирование еще одного языка в Языке. Очевидно, что в этой ситуации в Языковом пространстве неизбежно начинается процесс селекции, метафорического заимствования, уточнения смыслов и использования уже готовых значений из раз-

личных, но уже существующих языков. Хаотическое толкание, примеривание имеющегося в арсенале Языка, языков как кажущееся на первый взгляд общее с тем, что мы пытаемся описать как предметную область синергетики, упорядочивается, по выражению Ю.А.Данилова “ненулевыми точками пересечения”. Проступает “узнаваемая” переводная картинка, моделирующая динамические системы, иерархически организованные, открытые и нелинейные. Предмет синергетики имеет кроме того еще одну существенную черту — необратимость. Ее фатальная предопределенность сменяется уникальной неповторимостью состояний, в которых пребывает синергетическая система в каждый момент своего существования.

Возникает ощущение, что Язык “подсказывает”, “наводит” синергетику на рассмотрение проблем уже своей предметной области. Кроме этого достаточно очевидно сходство методологических приемов, которые доминируют в языке и синергетике — присутствие, совместно с объектным языком, языком описания своего предмета, метаязыка. Языка, на котором идет диалог между субъектами, включенными в языковое пространство. В процессе коммуникации участники договариваются, заключают конвенции относительно правил употребления слов, понятий, если не непосредственно, то “опосредованно через приборы, системы знаков, теории, разные языки” (В.И.Аршинов).

Конечно, столь значительное сходство между языком и синергетикой не снимает с рассмотрения их различие. Но хотелось бы отметить, что существующее различие между ними работает на уточнение и обогащение понимания специфических особенностей как языка, так и синергетики. Например, отсутствие на сегодняшний день философского осмысления синергетической проблематики адекватного ее широкой востребованности, начиная от естественных наук и кончая гуманитарным знанием, может быть восполнено уже накопленным в лингвистике и в философии языка. По крайней мере учет существующих направлений в этих разделах знания таких как логическое, сравнительно-историческое, структурное и конструктивное, поможет более сознательно, разбирая синергетический язык, посмотреть на саму предметную область синергетики. Так и синергетика, в свою очередь, может привнести в языкознание некоторые элементы строгости естественнонаучной дисциплины.

Таким образом, создаются условия естественного размыкания и наполнения естественнонаучного знания, каковым по происхождению является синергетика, гуманитарным. Однако остается вопрос — почему все-таки, рассуждая о синергетизме языка и о схожести и раз-

личии проблем, истари решаемых в языкознании, с проблемами, просматриваемыми в новом контексте возникшей сейчас синергетики, мы вынуждены самим ходом интересующих нас проблем обратиться к рассмотрению смысла и смыслообразования? Не потому ли, что в научном, но и не только, обиходе мы обращаемся к языку, когда он перестает быть само собой разумевшимся, когда возникают проблемы с выражением того, что мы хотим сказать. Не потому ли, что поиски смысла и его установление относительно независимо не только от традиционных вопросов, решаемых в процессе познания: как то истинности или ложности того или иного осмысленного утверждения, так и обоснованности, т.е. доказательности этих утверждений, но и от самого процесса познания, однако тем не менее необходимо присутствуя в нем. Другими словами, процесс смыслообразования проходит как бы сквозь, через процесс познания, не исчерпываясь им и объемля его. Свидетельством этому является тот факт, что смыслом для нас обладают известные, но непознанные вещи, и что не всякий смысл вербализован.

И если в современной гносеологии включённость познающего субъекта в познавательный процесс почти не вызывает споров, то смысл в своей телеологической роли всегда оказывается трансцендентен этому субъекту. Смыслы, подсказываемые языком и способные закрепиться в нем на время, не чувствуя “сыновьей благодарности”, уходят в иные пространства, структурированные не только грамматикой языка. И именно присутствие в языке механизмов смыслопорождения делает границы языка открытыми. Консерватизм грамматического ядра проходит проверку на лояльность ко всему, что происходит в его окружении. Тем самым феномены языка и его онтологию можно понять и принять только в постоянной и коррелированной соотнесенности с возникающими и уходящими смыслами.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сходные мысли были высказаны на Московском Синергетическом Форуме в Москве в январе 1995 года Джоном С.Николисом. Полный текст его выступления будет опубликован. Сейчас мы ограничимся лишь частичным цитированием. «Мы можем утверждать для лингвистических процессов, что тонкое взаимодействие между непредсказуемостью (разнообразием) и надежностью (порядком), лежащее в основе любой лингвистической схемы типично для поведения некоторого класса нелинейных диссипативных динамических систем малой размерности. В таких системах возникающая непредсказуемость, обусловленная в сущности нелинейным характером протекающего в них, проявляется двояко:

1. Через чувствительную зависимость управляющего параметра (или управляющих параметров), вследствие которой возникают неустойчивости, бифуркации, нарушения симметрии и множество сценариев при переходе за некоторую точку потери устойчивости.

2. Через чувствительную зависимость от начальных условий, приводящую к локальному (равномерному или неравномерному – фрактальному) разбеганию соседних траекторий или к хаотическому поведению соответствующих переменных.

В качестве компенсации существуют три механизма, смягчающие непредсказуемость и устанавливающих некоторый порядок.

1. Резкое уменьшение числа степеней свободы в окрестности бифуркации и возникновение доминантных “параметров порядка” в редуцированном описании пространства состояний (“центральное многообразие”). В свою очередь эти параметры порядка могут вступать в нелинейное взаимодействие, порождая диссипативный хаос малой размерности.

2. Существование (множественных) аттракторов с инвариантными мерами у динамической системы, управляемой взаимодействием между параметрами порядка. (В случае однородных аттракторов с сильно нерегулярными инвариантными мерами может происходить дальнейшее уменьшение числа “выживших” меренных.

3. Информация порождается не только через каскады бифуркаций, приводящих к нарушению симметрии, но и через последовательные итерации, приводящие к все возрастающему разрешению (фрактальный масштабно-инвариантный синдром)». [перевод Ю.А. Данилова].

² *Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс*. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 373. В нашем обществе с его широким спектром “познавательных технологий” науке отводится особое место. Наука – это поэтическое вопрошание природы в том смысле, что поэт выступает одновременно и как создатель, активно вмешивающийся в природу и исследующий ее. Современная наука научилась с уважением относиться к изучаемой ею природе. Из диалога с природой, начатого классической наукой, рассматривавшей природу как некий автомат, родился совершенно другой взгляд на исследование природы, в контексте которого активное вопрошание природы есть неотъемлемая часть ее внутренней активности.

³ См.: *Риккерт Г.* Введение в трансцендентальную философию. Киев, Типография Петра Барского. 1904. С. 17.

⁴ Вместо заключения к данному выступлению я приведу в качестве сноски обширную цитату из статьи Ж.Делеза “Клоссовски или тела-язык”. В ней, как мне кажется, в несколько ином ракурсе поясняется отношение (или разрыв) между телом и языком, а также их взаимодополнительность, то есть поясняется то место, где присутствует интенсивное тело, задающее область *Смысла*:

“Рассуждение обладает теологической сущностью и формой дизъюнктивного силлогизма. На противоположном же полюсе пантомима тела по существу извращена и обладает формой дизъюнктивной артикуляции. К счастью у нас есть путеводная нить для лучшего понимания исходного пункта. Биологи, к примеру, доказывают, что развитие тела осуществляется рывками: считается, что утолщение конечности определяется в качестве лапы до того, как она действительно выступает как лапа, и так далее. Можно сказать, что тело животного “колеблется”, или что оно проходит через дилеммы. Подобным же образом рассуждение движется рывками, оно колеблется и разветвляется на каждом уровне. Тело – это дизъюнктивный силлогизм, язык же – препятствие на пути к различению. Тело запечатлевает и утаивает скрытый язык, а язык формирует некое великолепное тело. Самая абстрактная аргументация – мимикрия, но пантомима тела – последовательность силлогизмов. И уже неизвестно, имеем ли мы дело с рассуждающей пантомимой или же с мимикрирующим рассуждением.

С одной стороны, именно наша эпоха открыла извращение. И здесь не стоит описывать [извращенное] поведение или пускаться в неприятные объяснения. Саду это было нужно, но теперь он принят как само собой разумеющееся. Мы же, скорее, ищем “структуру”, или форму, которая могла бы быть заполнена такими описаниями и разъяснениями (поскольку она делает их возможными), но сама эта структура не нуждается в заполнении, дабы ее назвали извращенной. Извращением мы называем как раз такую объективную силу колебания в теле: лапа – ни правая, ни левая; заданность посредством урывков; дифференциация, никогда не предполагающая недифференцированного, которое как-то разделяется; неопределенность, отмечающая каждый момент различия; и неподвижность, маркирующая всякий момент падения. Гомбрович озаглавил *Порнографией* извращенный роман, где нет непристойных историй, а лишь показываются молодые подвешенные [в неопределенности] тела, колеблющиеся и падающие в некий застывший момент. У Клоссовски, который пользуется совершенно иной техникой, сексуальные описания проступают с особой силой, но только чтобы “заполнить” колебание тел и распределить последнее в частях дизъюнктивного силлогизма. Значит, наличие таких описаний предполагает лингвистическую функцию: не выступая более проблемой говорения тела, – так как тело предшествует языку или находятся вне последнего – описания с помощью языка формируют некое “великолепное тело” для чистого разума. Нет непристойного самого по себе, говорит Клоссовски; то есть, непристойное – не вторжение тел в язык, а скорее их взаимоотношение и действие языка, создающего тело для мысли. Это то действие, посредством которого язык выходит за пределы самого себя, поскольку отражает некое тело. “Нет ничего более вербального, чем избыток плоти... Повторяемое описание полового акта не только пересматривает

трансгрессию, оно само является трансгрессией языка с помощью языка”.

С другой стороны, именно наша эпоха открыла теологию. Более не нужно верить в Бога. Скорее, мы ищем “структуру”, то есть, форму, которая могла бы быть заполнена верой, но такая структура не нуждается в том, чтобы быть заполненной ради того, чтобы называться “теологической”. Теология является теперь наукой о несуществующих сущностях, тем способом, каким эти сущности – божественное или анти-божественное, Христос или Антихрист – оживляют язык и создают для него великолепное тело, разделяющееся в дизъюнкциях. Осуществляется пророчество Ницше о связи между Богом и грамматикой; но на этот раз такая связь становится осознанной, желаемой, разыгрываемой, имитируемой, “колеблющейся”, развиваемой в полном смысле дизъюнкции и поставленной на службу Антихристу – распятому Диофнису. Если извращение – это сила соответствующая телу, то равногосие – это сила теологии; они отражаются одно в другом. Если одно – пантома *par excellence*, то другое – рассуждение *par excellence*” (*Deleuze G. Logique de sens. P. 325–327*).